

**ПРИТЧА И АНЕКДОТ В ЖАНРОВОМ СОСТАВЕ
ПИСЕМ А. С. ХОМЯКОВА***

© 2019 г. М. Д. Кузьмина

Кандидат филологических наук,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна,
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18
mdkuzmina@mail.ru

Дата поступления материала в редакцию: 11 февраля 2019 г.

Дата публикации: 31 августа 2019 г.

**PARABLE AND ANECDOTE AS GENRE COMPONENTS
IN ALEKSEY KHOMYAKOV'S LETTERS**

© 2019 Marina D. Kuzmina

Cand. Sci. (Philol.),
Associated Professor at St. Petersburg State University
of Industrial Technologies And Design
18 Bolshaya Morskaya St., St. Petersburg, 191186, Russia
mdkuzmina@mail.ru

Received: February 11, 2019

Date of publication: August 31, 2019

Резюме. В статье рассматривается жанровый состав эпистолярия А.С. Хомякова. Популярной в России в первой трети XIX в. традиции исповедального дружеского письма идеолог славянофильского кружка противопоставляет письмо-проповедь. Важнейшую роль в его письмах играют жанры с установкой не на личное, а на общезначимое (публицистическая статья, рецензия, автокомментарий, экзегетическое исследование и др.), и в их числе — прежде всего, притча, неотъемлемая часть любой проповеди. Хомяков отсылает к евангельским притчам, усиливая авторитетность своего учительного слова, но и сам говорит притчами, причем чаще преподносит их в редуцированном виде, сворачивая до пословично-афористичных сентенций. Не менее важную роль в его эпистолярии играет антиномичный притче жанр — анекдот, тоже представленный как в полной, так и в редуцированной форме (остроте). Несколько ослабляя авторитарность учительного слова, он вместе с тем повышает его действенность, поскольку ставит адресата в ситуацию свободного выбора и равноправия с адресантом письма.

Ключевые слова: А.С. Хомяков, письмо, эпистолярный жанр, проповедь, притча, анекдот, пословично-афористичная сентенция, острота.

Abstract. The article considers the generic structure of A.S. Khomyakov's letters. It comes to light that the theorist of a Slavophile movement opposes friendly confessional correspondence, popular in Russia in the first third of the 19th century, to sermon in a letter form. In his letters, Khomyakov prefers genres targeting public audience (e.g. journal articles, reviews, auto-commentaries, exegetical studies, etc.) to intimate ones; among his preferences are parables, an integral part of any sermon or homily. Khomyakov refers his readers to evangelical parables, thereby making his instructive (*uchitelny*) word gain in authority; he also speaks in various parables, often using their abridged versions, highlighting their proverbial and aphoristic maxims. In his epistles, not a less important role there plays another, an antinomic to a parable genre of an anecdote, samples of which also appear in complete or condensed forms (punch lines). Anecdotes and jokes seem to weaken the authority of the

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Отделение общественных и гуманитарных наук), научный проект № 17-04-00170а («А.С. Хомяков и его наследие: подготовка комментированного издания сочинений»).

uchitelny word; however, it gains in effectiveness, since the addressee finds himself free to discourse with the sender of the letter as with an equal.

Keywords: A.S. Khomyakov, letter, genre, sermon, parable, anecdote, proverbial and aphoristic maxim, sharpness.

Для цитирования: Кузьмина М.Д. Притча и анекдот в жанровом составе писем А.С. Хомякова // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2019. Т. 78. № 4. С. 48–55. DOI: 10.31857/S241377150006111-5

For citation: Kuzmina, M.D. *Pritcha i anekdot v zhanrovom sostave pisem A.S. Khomyakova* [Parable and anecdote as genre components in Aleksey Khomyakov's letters]. *Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya literatury i yazyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2019, Vol. 78, No 4, pp. 48–55. (In Russ.) DOI: 10.31857/S241377150006111-5

DOI: 10.31857/S241377150006111-5

В противовес популярной в России первой трети XIX в. традиции дружеского исповедального письма (см.: [1]; [2]), к которой в 1830-е гг. охотно обращались молодые современники А.С. Хомякова (К.С. Аксаков, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский и др.), сам Хомяков отдавал предпочтение письму-проповеди. Это могло быть связано с тем, что большая часть его сохранившегося эпистолярного наследия относится к 1840–1850-м гг., когда и в целом эпоха “идеалистов тридцатых годов” (П.В. Анненков) осталась в прошлом, и лично для него пора юности прошла. Положение старшего товарища (Хомяков родился в 1804 г. и был старше не только Ю.Ф. Самарина, но и братьев Константина и Ивана Аксаковых и других своих соратников) и идеолога славянофильского кружка побуждали его к проповеди: от него ждали ответов. Наконец, по самому своему темпераменту Хомяков не был склонен к душевным излияниям и меланхолии. Он всячески избегает разговора о личном, несмотря на то что адресаты большинства его писем – люди ему близкие, друзья и единомышленники.

Наиболее характерные для дружеского письма элементы доверительных жанров – исповеди, автобиографии, дневника и т.п. – под пером Хомякова предельно нивелируются, подменяясь жанрами с противоположной установкой – на общезначимое. Так, он актуализирует традицию публицистической статьи (поднимая, например, излюбленную тему славянофильской публицистики – “европеизированного” Петербурга, которому “быть пусту”, и родной Москвы, надежды России), рецензии (отзываясь на чью-нибудь публикацию), автокомментария (толкуя свое новое сочинение), экзегетического исследования (если речь идет о работе богословского характера, каких у него немало) и т.п. Все эти жанровые составляющие объединяются в эпистолярный Хомякова

ведущим жанром – проповедью, одновременно христианской и светской, в характерном для славянофилов восприятии означенных двух сфер как нераздельных. Их нераздельность прекрасно выразил сам Хомяков, заговорив о своей деятельности и деятельности своих единомышленников как о “проповеди” “миссионеров русской мысли” [3, с. 283]. Это “проповедь” одновременно о Христе и православной вере и о жизненной позиции и общественном служении.

Как в любой, так и в хомяковской проповеди важную роль играет притча. Священник, обращаясь к пастве, обычно пересказывает и толкует ту притчу, которая читалась за богослужением. Он разъясняет ее смысл, подобно тому, как Христос разъяснял его ученикам. Хомяков же идет другим путем. Он не пересказывает и не толкует евангельские притчи, а лишь отсылает к ним, заставляя адресатов вспомнить их содержание – и тут же приспособивая его к целям своей славянофильской проповеди. Например, в целом ряде эпистолярных фрагментов он отсылает к притче о сеятеле (ср.: “поле чисто, да его надобно вспахать анализом науки и засеять семенем живым” [3, с. 178], “никто из нас не доживет до жатвы” [3, с. 252], “сейте, где можно и сколько можно; где взойдет, никто не возьмется сказать” [3, с. 286], “мы с вами увидим хлеб в краске, хотя зеленей настоящих не увидим” [3, с. 299]), рассказанной Христом и содержащейся в трех из четырех Евангелий. Согласно ей, “сеятель слово сеет” (Лк. 4:14), “слово Божие” (Лк. 8:11), сеет всюду: при дороге, на камне, в тернии и, наконец, на доброй почве. Только в последнем случае, то есть когда упадет в душу, вполне отзывающуюся на призыв Господень, семя даст достойный плод (“...а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод

в терпении” [Лк. 8:15]). Хомяков призывает соратников всем и всюду проповедовать истину. Символично, что он говорит о “сеянии” славянофилами “хлеба” — несомненно, Хлеба Жизни Вечной (ср.: “...хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру”, “Я есмь хлеб жизни...” [Ин. 6: 33, 35]), и предупреждает, что не нужно ожидать ни быстрого отклика, ни награды в земной жизни. Очевидно, их радость должно составлять то, что они служат Христу, наряду с апостолами совершают дело благовествования миру и возвращают себе сокровище на небесах. Христос говорил ученикам: “...возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут...” (Ин. 4:35—36). Но если Он посылал апостолов “жать” то, что было “посеяно” другими, то Хомяков видит необходимость в современной ему России именно “сеять”, причем на “непаханом”, “чистом” “поле” [3, с. 178], то есть начинать с нуля (очевидно, настолько, по его мысли, мир позабыл спасительную христианскую истину), возложив на плечи тяжкое бремя. “Жать” же, причем в отдаленном будущем, предстоит их преемникам, а самим славянофилам не доведется увидеть даже “зеленей настоящих” [3, с. 299].

Отсылая таким образом к известным евангельским притчам, Хомяков в то же время и сам говорит притчами. Но если для евангельской притчи наиболее характерна препозиция по отношению к прямому слову проповеди, содержащему толкование только что изложенного текста (см.: [4, с. 534]), то Хомяков отдает предпочтение постпозиции и толкование зачастую полагает излишним. Характерный пример представлен в письме к А.И. Кошелеву, которого автор убеждает в приоритете православия и неполноценности других конфессий. Изложив свою позицию, он рассказывает притчу (примечательна метаповествовательность этого и подобного ему фрагментов — автор сам безошибочно указывает на жанровую основу): «Я даже на этот счет говорил Киреевскому следующую притчу. Учитель, уходя, сказал трем ученикам: “Помните, что три угла треугольника равны двум прямым”. Старший остался при этом; второй через несколько времени разными ложными доказательствами уверил себя, что они более двух прямых; меньшей также ложными доводами уверил себя, что они меньше. Старший все повторял добродушно слово учителя: “Равны”. Меньшие спорили и взаимно опровергали друг друга, уличая и доводя друг друга до нелепости. Тогда старший, вслушавшись, уличил обоих, доказав им с помощью их же доводов, что они

ошибались и что прав был только учитель. Пришел и учитель сам, ни на кого не гневный, и сказал меньшим: “Благодарите старшего, без него вы не сохранили бы переданной мною истины”; а старшему: “Благодари меньших, без них ты не уразумел бы переданной мною истины”» [3, с. 139]. И лаконично подытоживает: “А все-таки, разумеется, старший более сделал, и меньшие к нему же возвратились” [3, с. 139]. В рассказанной Хомяковым притче налицо такие характерные для этого жанра особенности, как пребывание в контексте, дидактичность, аллегоричность, обобщенность и условность ситуации и образов, отсутствие индивидуализированных характеров и т.п. Адресат, конечно же, без труда должен был понять символику расклада “старший” (православие) — “меньшие” (другие конфессии) “братья” (христиане), как и темы ухода (Вознесения) и возвращения (Второго Пришествия) Учителя, в итоге открывающего им глаза. Под пером Хомякова сохраняется традиционная для притчи сюжетная двуплановость, заданная сочетанием профанного и сакрального, при котором адресата как бы возводят от первого ко второму, от земного к Небесному, Божественному. В частности, Ю.И. Левин, исследуя структуру евангельской притчи, отмечал, что в большинстве случаев “повествуется о событиях, которые происходят (или <...> произошли) в царстве *низкой*, обыкновенной жизни”, “но текст <...> имеет двойную семантику” и одновременно повествует о событиях и фактах, “относящихся к тому, что происходит (или произойдет) <...> в приобщенной к Богу сфере реальности, где Бог является — явно или скрыто — действующим лицом. Этот второй ряд и образует толкование притчи...” [4, с. 530—531; здесь и далее курсив авторов цитируемых сочинений. — М.К.]. Этот второй ряд представлен в рассказанной Хомяковым притче вполне экцелицированно.

Надо отметить, что столь развернутые примеры притчи в эпистолярной Хомякова единичны. Гораздо чаще он предлагает своим адресатам редуцированные варианты. Так, в письме к Самаринову, говоря о малочисленности и рассредоточенности славянофилов, призывая их держаться вместе, сфокусировавшись вокруг Москвы, он вводит притчевый дискурс: “Лучинки разрозненные горят да гаснут: вместе связанные они передают огонь целому костру” [3, с. 260]. Далее привязывает содержание притчи к прямому слову проповеди за счет того, что продолжает развивать мотив разрозненности и прибегает к буквальному повтору на лексическом уровне (“лучинки разрозненные” / “разрознение”): “Ни мы сами, ни Россия еще не дошли до той степени, в которой разрознение

и рассеяние наше по ее лицу могло бы быть полезно, возбуждая просвещение и мысль в разных точках ее великого пространства” [3, с. 260]. Не менее интересный пример редуцированной притчи содержится в письме к М.С. Мухановой. Оно начинается в традиционной для эпистолярного жанра манере высказывания от первого лица, и как будто вводится покаянная рефлексия: “Дел много, а я, к несчастью, и ленив, и рассеян другими делами” [3, с. 423]. Но вскоре она ослабляется за счет того, что производится обобщение, переход к имплицитной “мы”-форме (мои соотечественники подобны мне): “Дай Бог помощников! Но, к несчастью, так трудно русскому человеку проснуться да взяться за работу, так мало еще людей, желающих духовной и мысленной жизни, что иногда руки отпадают” [3, с. 423]. Личный и общий план связаны повторяющимся вводным словом “к несчастью”. Как бы возведя адресата от первого лица единственного числа (*я*) к первому лицу множественного числа и ко второму и третьему лицу (*мы, ты, вы, современная Россия*), автор, наконец, предлагает ему подняться еще выше — на онтологический уровень, обозначенный притчевым дискурсом: “Одно утешение — смотреть, как дубы тихо растут. Может быть, так и надобно для крепкого роста” [3, с. 423]. Исповедально-автобиографический план содержания, едва намеченный, таким образом очень быстро оказался вытеснен планом проповедническим. Не связанные так непосредственно с “приобщенной к Богу сферой реальности”, как первая, развернутая притча, две последующие, редуцированные, в общем контексте эпистолярной проповеди Хомякова все же воспринимаются небезотносительно к этой сфере.

Обе вызывают ассоциации с евангельскими даже за счет тематических сближений. “Лучинки” напоминают о зажженной свече — христианской душе, призванной светить миру (ср.: “Вы — свет миру. <...> зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми...” [Мф. 5:14–16]), а “дубы” — о бесплодной смоковнице, которая достойна посещения, но от которой Бог все-таки ждет плодов (ср.: Лк. 13:6–9). Примечательно, что идеолог славянофильства ведет речь, с одной стороны, не о зажженной свече, которая “светит всем в доме”, а лишь о разрозненных еле теплящихся лучинках, которые неизвестно, разгорятся ли, с другой же — не о смоковнице, а о дубах, вводя образ потенциально амбивалентный, символизирующий одновременно крепость, твердость, непоколебимость — и негибкость, гордость, упрямство. Созданный Хомяковым образ дубов можно

соотнести с библейскими образами кедра и единорога¹. Автор писем выражает надежду на духовное пробуждение русского общества, а вместе с тем тревогу, ставя своих корреспондентов перед не допускающим отлагательства выбором.

Развернутая или редуцированная, больше или меньше связанная с евангельской традицией, притча в эпистолярном Хомякова всякий раз позволяет реализовать те цели, которые заложены в самой природе жанра. Во-первых, дать соратникам наставление в наглядной форме, на близком им материале, с опорой на имеющийся у них жизненный опыт, и, постепенно возвращая их духовно, возводить от профанного к сакральному, от земного к вечному. Во-вторых, побудить к активному созерцанию (поскольку содержание притчи иносказательно и требует интерпретации) и личному отклику (ведь притча ставит адресата в острую ситуацию нравственного выбора), состоящему в солидарности с автором. “Моральная ответственность выбора и ценностного отношения к этому выбору со стороны рассказчика и слушателей, — отмечал В.И. Тютча, — составляет семантическое ядро притчи <...> но внутренняя активность адресата при этом остается регламентированной, притчевый дискурс не предполагает внутренне свободного, произвольного отношения к сообщаемому. Сомнение в правильности поведения отца из притчи о блудном сыне немедленно разрушило бы коммуникативную ситуацию учительного слова” [6, с. 37, 39]. Таким образом, притча — подобно жанрам проповеди и письма — потенциально ориентирована на диалог, но преимущественно монологична. Она позволяла Хомякову в ненавязчивой форме наставлять соратников, духовно воспитывать и вести за собой.

Очень часто идеолог славянофильства решал эту задачу, максимально редуцируя притчу, доводя ее, по сути, до того “риторического предела”,

¹ Свт. Василий Великий отмечает: “Кедр иногда похваляется в Писании как дерево долговечное, не подверженное гниению, благовонное, годное служить покровом, а иногда порицается как дерево бесплодное, с трудом сгибаемое, и потому употребляемое в подобие нечестивого...”, “...глас Господень сокрушает кедры”, “...сокрушает все надмевающиеся, возносящиеся мнимыми преимуществами мира сего, богатством, или славой, или властью, или телесной красотой, или силой, или крепостью” [5, с. 121–122]; “Писание двояко употребляет подобие единорога — как в похвальном смысле, так и в укоризненном. <...> по мстительности сего животного, часто берется оно в качестве отрицательного образа, а по высоте рога и по любви к свободе употребляется в качестве положительного образа. <...> поскольку слово рог часто берется в значении силы <...>, а Христос есть *Божия сила* <...>, то Он, как имеющий один рог, то есть одну силу — силу Отца, называется единорогом” [5, с. 121–122].

находящегося за ее границами в связи со своей анарративностью, каковым В.И. Тюпа считает паремию, пословично-афористическую сентенцию [7, с. 386]. Думается, эпистолярный Хомякова позволяет точнее описать этот “предел”: с одной стороны, паремия (небольшая, семантически завешенная цитата из Священного Писания, как правило, из Ветхого Завета) или прокимен (краткая цитата из псалма), с другой — светское афористичное выражение пословичного типа. Они составляют минимальные по объему жанры в составе эпистолярного Хомякова. Причем в контексте той развернутой проповеди, которую он осуществлял, синтезируя идею христианского и общественного служения, между ними, духовными и светскими по происхождению, в значительной степени стиралась грань. Сознательно или нет, автор писем актуализировал древнерусскую традицию их различения и расширительного понимания жанра притчи, при котором к нему относились все подобные анарративные высказывания (см. об этом: [8]; [9]; [10]; [11]; [12]). Но любопытно отметить, что если в древнерусской литературе сюжет зачастую надстраивался на афористичную сентенцию, восходившую к тексту Священного Писания и таким образом рождалось произведение, то под пером Хомякова имел место обратный процесс — сюжет сворачивался до отдельной сентенции. Следовательно, ее оказывалось достаточно, чтобы его актуализировать. Включенные в контекст, с одной стороны, учительной литературы, а с другой — пословичной народной мудрости (ср. в эпистолярном Хомякова: “Чем богат, тем и рад” [3, с. 391]), подобные сентенции должны были восприниматься как неоспоримо авторитетные, например: “...страсть никогда умна быть не может” [3, с. 95]; “...всякое начало, которое способно проявляться в жизни без всякой уступки, просто не стоит и проявления” [3, с. 272]; “где нельзя действовать, лучше и не думать” (о политике) [3, с. 321]; “всякое горе — род эмиграции” [3, с. 443]; “слово и мысль лучше завоевывают, чем сабля и порох...” [3, с. 463]. Нередко его сентенции строятся на игре слов, например: “Что один замыслит, то другой домыслит” [3, с. 277]; “Сбор слов — совсем не то, что набор слов” [3, с. 428]. Либо строятся по принципу дефразеологизации — анализа “готового” пословичного или учительного тезиса, например: «...не только чужая (как говорит пословица), и своя-то душа — потемки. Это отчасти, кажется, выражает Апостол, говоря: “Совесть моя меня не упрекает, но Бог больше моей совести”» [3, с. 142]; “Есть пословица: гром не грянет — мужик не перекрестится; а я прибавлю: гром грянет, а дворянин все-таки не перекрестится” [3, с. 263]. Афористичные

сентенции Хомякова, с одной стороны, апеллировали к активному соучастию реципиента, сотрудничеству и свободному согласию с автором, с другой — хорошо запоминались и назидали. Они оказывались по форме столь же диалогичны, а по сути монологичны, как и жанр письма, а в его составе жанры проповеди и притчи.

Учительная категоричность жанров проповеди, притчи, пословично-афористичной сентенции в эпистолярном Хомякова несколько смягчалась за счет их соседства с противоположными — нарочито неназидательными жанрами, центральный из которых, очевидно, анекдот. Анекдотический дискурс так же ярко выражен в рассматриваемых письмах, как и проповеднический. Соотносимый с притчей по целому ряду параметров (простота и лаконичность сюжетно-композиционного построения, неразработанность характеров, акцентированная роль “укрупненных” деталей и т.п.; подробнее об этом см.: [13]; [14], в особенности: [13, с. 13–32]), анекдот принципиально отличается от нее господствующей установкой на конкретику, эмпирику жизни, окказиональность (случайное происшествие и случайное же наблюдение, спонтанно родившаяся шутка), абсурдность, смех. Помимо полной жанровой формы Хомяков охотно обращается и к ее усеченному варианту — остроте, так же соотносящейся с анекдотом, как пословично-афористичная сентенция с притчей². Создавая, в отличие от последней, ситуацию “диалогической равнодостоинства сознаний” (В.И. Тюпа), анекдотический дискурс позволял автору писем снять напряжение, могущее возникнуть вследствие учительной интенции его посланий и, напротив, придать эпистолярному общению живость, непринужденность устной дружеской беседы. Ведь анекдот наиболее органичен именно в ее контексте. Он был очень органичен и лично для Хомякова, которого современники знали не только как эрудированного мыслителя, богослова, талантливого полемиста, но и как человека жизнерадостного, блещущего остроумием. Один из лейтмотивов его эпистолярного — “мне весело”: “...мне весело видеть...” [3, с. 254], “...мне весело и очень весело” [3, с. 286], “...это весело видеть; но забавно видеть...” [там же], “...мне было особенно весело прочесть...” [3, с. 291].

² “Жанровый предел, до которого анекдот легко может быть редуцирован (как притча может быть сведена к сентенции), — отмечал В.И. Тюпа, — это комическая апофегма, то есть хранящаяся в памяти культуры острота (или острота наизнанку: глупость, неуместность, ошибка, оговорка), где слово деритуализовано, личностно окрашено” [15].

Хомяков понимает анекдот широко, в соответствии с сохранявшейся в XIX веке традицией, — как жанр, обязательно предполагающий курьезность и не обязательно смех (см.: [15]; [16, с. 65–66]; [17]) (ср. в письмах к А. Н. Попову — рассказ о ходящих в обществе слухах, что “...в *Галицких* лесах поймали *дикого архиерея*” [3, с. 179], и о казусе, с которым столкнулся автор письма: “Я не могу никак отыскать Тульского комитета: он, говорят, с тем только допущен, чтобы ему не собираться. Не думайте, чтобы я шутил” [3, с. 189]). Однако под его пером все же, как правило, излагается именно смешная история. Если сюжету самому по себе не хватает этого качества, то недостаток компенсируется мастерством рассказчика, веселящегося и веселящего своего корреспондента. При этом анекдотические фрагменты, как и притчевые, отмечены метаповествовательностью — автор писем осознает, к какому жанру обращается: “Вот тебе анекдот...” [3, с. 12], “...да вот вам чудесный анекдот” [3, с. 178]. Герои этих анекдотов — не только третьи лица, зачастую известные адресанту и адресату (к примеру, люди публичные или фигуранты газетных публикаций), как то предписывалось жанровой традицией, но и нередко сам адресант. Так, он сообщал жене: “Глядя на мух, приходило ли тебе когда-нибудь в голову, чтобы муха могла дня на два удалить от тебя твоего супруга? Верно, нет. Однако же теперь так случилось. Я делами торопился как мог более и кончил их почти совсем; надобно ехать к Уварову, которого предупредил, что буду <...>. Что ж? Вообрази себе, что меня ночью укусила в губу так называемая блажная муха, да так, что у меня сделалась рожа хоть брось: рот на сторону, губа толщиной в кулак, фигура до того смешная, что <...> самого себя перед зеркалом стыдно” [3, с. 13]. Или в другом письме к ней же: «Вообрази себе мое удивление: целых два дня я по привычке кричал во все горло с стариком Сергеем Степановичем. Уж только на третий день я заметил, что он слышит не хуже нас с тобою. — “Да что же ты мне не сказал, чтобы я не кричал?” — “Я думал, что вам так угодно”. — “А кто тебя вылечил?” — “Катерина Ивановна”. Каково! Ты попала в медики, потому что дала ему по предписанию матушки Гарлемских капель. После того скажи мне, не весело ли лечить, когда удастся и глухим возвращать слух?» [3, с. 16]. В этих и других подобных примерах налицо такие характерные черты поэтики жанра анекдота, как правдоподобность изображаемой ситуации, достигаемая за счет конкретных имен и деталей (муха, Уваров, Сергей Степанович, Гарлемские капли), ярко выраженная диалогизированность (обмен репликами персонажей, апелляция к адресату, в том числе посредством риторических вопросов

(“...приходило ли тебе когда-нибудь в голову...”, “Что ж?”, “Вообрази себе...”), вкрапления разговорного стиля (“рожа хоть брось”), стремительность развития действия, сконцентрированного в небольшом объеме текста, наконец, “закон пуанты”, неожиданно взрывающий весь, казалось бы, ясный расклад и представляющий произошедшее с новой “точки зрения”, “в совершенно ином освещении” [18, с. 43]. Хомяков как бы приглашает своих корреспондентов вместе с ним посмеяться над собой, а также и над другими, равно как и над разными житейскими несообразностями. В противовес учительным жанрам, анекдот устанавливал принципиальное равноправие участников коммуникации, под пером же идеолога славянофильства даже отводил привилегированное положение адресату, в отличие от автора никогда не становившемуся столь явным объектом смеха.

Отдавая предпочтение анекдотическому дискурсу, автор писем таким образом как бы восполняет недостаточно развитый у него дискурс автобиографический. Первый запрещал требуемую вторым рефлексией, обнажение души, что и было нужно Хомякову. Синтезируя антиномичные установки обоих жанров, автор писем существенно ограничивает доверительные признания. Например: «Я вполне понимаю того австрийского солдата-словака, которого колотили палками за то, что он высунулся из фрунта и который хохотал под палками. Били, били, наконец, утомившись, спросили: “Чему же ты хохочешь?” — “А как же не хохотать? Ведь из фрунта-то высунулся не я, а сосед мой”. В детстве меня забавляло незаслуженное наказание, и я часто не хотел оправдываться, чтобы не лишиться своего внутреннего смеха» [3, с. 283].

Помимо автобиографии и другие жанры в эпистолярии Хомякова сопрягаются с анекдотом, по своему обогащаясь им, под его влиянием обнаруживая, казалось бы, ранее неведомые возможности и на время как бы выключаясь из уже утвердившейся монополии проповеди. Так, под влиянием анекдота преобразуется жанр рецензии. Например, в письме к Самарину Хомяков восторженно отзываясь на напечатанную в “Московских ведомостях” “...уморительную историю <...> самарского перепуга” [3, с. 300], произошедшего вследствие того, что во время сенокоса крестьяне, повздоровив, подрались, пострадавшие пообещали наслать на своих обидчиков Орду, началась паника, около 40 тысяч человек, испугавшись Орды, двинулись в Самару. Вниманию того же Самарина Хомяков предлагает своего рода анекдотическую сводку новостей, вырастающую из традиции хроники: «Теперь вот несколько сплетен. Давыдов похитил протокол об вашем диспуте и сгоряча в этом

признался, за что его Нахимов назвал виртуозом. Причина похищения — самолюбие, оскорбленное тем, что вы у него не были. <...>. Окончательная насмешка судьбы надо мною: И.И. Давыдов и Терновский, прочитав “Ф. Ивановича” в “Детской библиотеке”, объявили, что они мне сочувствуют» [3, с. 248–249]. Наконец, что еще более любопытно, Хомяков предлагает вниманию своих корреспондентов парадоксальные образцы притчи-анекдота, инкрустирующие анекдот в проповедь. В частности, полемизируя с К.С. Аксаковым о молитве и чуде, он заключает: “...почему вещь удивительная должна считаться нарушением общих законов, я не вижу” [3, с. 354]. И рассказывает сюжет, актуализирующий одновременно интенцию притчи и анекдота: “В Америке вам показывают толстый брус железа, который висит в воздухе. Приглашают вас его опустить; вы налегаете, он подается и потом вас поднимают, и происходит забавная борьба между вами и висющим брусом. Ну не чудо ли это?” [3, с. 354].

Подобным образом в эпистолярной Хомякова синтезируются минимальные жанры остроты и пословично-афористичной сентенции, связанные как объемом, так и каламбурностью, принципом рифмовки и т.п. Ср.: “Кажется, я нашел гомеопатическое лекарство от бешенства. Тогда (если это удастся) будут беситься только алопаты” [3, с. 228], “Что один замыслит, то другой домыслит” [3, с. 277], “Сбор слов — совсем не то, что набор слов” [3, с. 428] и т.п. Однако если в двух последних случаях перед нами скорее пословично-афористичные сентенции, то в первом — острота, сохраняющая традиционную для анекдотического дискурса установку на ситуативность. Казалось бы, столь противоположные друг другу учительная и юмористическая тенденции в сознании Хомякова, любителя всевозможных парадоксов (см: [19; 20]), были, очевидно, неотделимы друг от друга и воспринимались им как две грани бытия. Рассказав очередной анекдот с личным участием, он как-то заметил в письме к А.Ф. Гильфердингу: “Можете вообразить, как это меня забавляет, меня, такого записного охотника до человеческой комедии, которая так странно всегда сплетается с Божественной драмою мира” [3, с. 335].

Богатый жанровый состав эпистолярия позволял Хомякову, с одной стороны, полно, а с другой — избирательно раскрывать как разные грани бытия, так и свою личность. Важнейшую роль в этом сыграли два антиномичных жанра, взаимодополняющих друг друга под пером идеолога славнофильского кружка, — притча и анекдот.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гинзбург Л.Я. “Застенчивость чувства”. По поводу писем людей пушкинского круга // Красная книга культуры. М., 1987. С. 183–188.
2. Кузьмина М.Д. Дружеское письмо 1830-х годов: заграничные корреспонденции Т.Н. Грановского // Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 3 (72). С. 48–51.
3. Хомяков А.С. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. М., 1900. 538 с.
4. Левин Ю.И. Структура евангельской притчи // Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика, семиотика. М., 1998. С. 520–542.
5. Василий Великий, свт. Беседы на псалмы. М., 2014. 431 с.
6. Тюпа В.И. Нарративная стратегия притчи в литературной традиции // Притча в русской словесности: от Средневековья к современности: коллект. монография / Отв. ред. Е.Н. Проскурина, И.В. Силантьев. Новосибирск, 2014. С. 34–78.
7. Тюпа В.И. Грани и границы притчи // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999. С. 381–387.
8. Добротворский С. Притча в древнерусской духовной письменности // Православный собеседник. Казань, 1864. Апрель. С. 375–415.
9. Древнерусская притча / Сост.: Н.И. Прокофьев, Л.И. Алехина. М.: Советская Россия, 1991. 528 с.
10. Прокофьев Н.И. Древнерусские притчи и их место в жанровой системе литературы русского средневековья // Литература Древней Руси: Межвуз. сб. науч. тр. М.: Изд-во МГПИ, 1988. С. 3–16.
11. Ромодановская Е.К. Древнерусская притча: самоопределение жанра // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 54. СПб.: Наука, 2003. С. 192–200.
12. Ромодановская Е.К. Специфика жанра притчи в древнерусской литературе // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 73–111.
13. Тюпа В.И. Двухязычие “Повестей Белкина”: анекдот и притча // Гуманитарные науки в Сибири. Серия “Филология”. Новосибирск, 1999. № 4. С. 8–13.
14. Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высшая школа, 1989. 135 с.
15. Введение в теорию коммуникации. Авторский ридер к лекционному курсу / Сост. В.И. Тюпа. URL: <https://studfiles.net/preview/4347106/> (дата обращения: 27.11.2018).
16. Кошанский Н. Частная риторика. Изд. 3-е. СПб., 1936. 165 с.
17. Петровский М. Анекдот // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов / Под ред. И. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина и др.: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1925. Стлб. 52–53.

18. Курганов Е.Я. Анекдот как жанр русской словесности. М.: ArsisBooks, 2015. 264 с.
19. Кошелев В.А. Парадоксы Хомякова. Заметки и наблюдения. М.: Индрик, 2004. 216 с.
20. Кузьмина М.Д. Принцип парадокса в письмах А.С. Хомякова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. 2018. № 2. С. 82–91.

REFERENCES

1. Ginzburg, L. Ya. "Zastenчивost' chuvstva". *Po povodu pisem lyudej pushkinskogo kruga* ["Shyness of feeling". Concerning Letters of People of a Pushkin Circle]. *Krasnaya kniga kul'tury* [Red Book of Culture]. Moscow, Iskustvo Publ., 1987, pp. 183–188. (In Russ.)
2. Kuzmina, M.D. *Druzheskoe pis'mo 1830-h godov: zagranichnye korrespondencii T.N. Granovskogo* [Friendly Letter of the 1830th Years: Foreign Correspondence of T.N. Granovsky]. *Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Cherepovets State University]. 2016, No 3 (72), pp. 48–51. (In Russ.)
3. Khomyakov, A.S. *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete Works]. In 8 Vols. Vol. 8. Moscow, 1900. 538 p. (In Russ.)
4. Levin, Yu.I. *Struktura evangel'skoj pritchi* [Structure of the Evangelical Parable]. Levin, Yu.I. *Izbrannye trudy. Poehtika, semiotika* [Selected Works. Poetics, Semiotics]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kul'tury Publ., 1998, pp. 520–542. (In Russ.)
5. Vasilij Velikij, svt. *Besedy na psalmy* [Conversations on Psalms]. Moscow, Sibirskaya blagovonnica Publ., 2014. 431 p. (In Russ.)
6. Tyupa, V.I. *Narrativnaya strategiya pritchi v literaturnoj tradicii* [The Narrative Strategy of the Parable in Literary Tradition]. *Pritcha v russkoj slovesnosti: ot Srednevekov'ya k sovremennosti: kollekt. monografiya. Otv. red. E.N. Proskurina, I.V. Silant'ev* [The Parable in the Russian Literature: from the Middle Ages to the Modernity: Collective Monograph. Proskurina, E.N., Silant'ev, I.V., Eds.]. Novosibirsk, RIC NGU Publ., 2014, pp. 34–78. (In Russ.)
7. Tyupa, V.I. *Grani i granicy pritchi* [Sides and Limits of the Parable]. *Tradiciya i literaturnyj process* [Tradition and Literary Process]. Novosibirsk, Izdatel'stvo Sibirskogo otdeleniya RAN Publ., 1999, pp. 381–387. (In Russ.)
8. Dobrotvorskij, S. *Pritcha v drevnerusskoj duhovnoj pis'mennosti* [The Parable in Old Russian Spiritual Writing]. *Pravoslavnyj sobesednik* [Orthodox Collocutor]. Kazan', 1864, April, pp. 375–415. (In Russ.)
9. *Drevnerusskaya pritcha*. Sost. N.I. Prokof'ev, L.I. Alekhina [Old Russian Parable. Prokofiev, N.I., Alekhina, L.I., Compl.]. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1991. 528 p. (In Russ.)
10. Prokofiev, N.I. *Drevnerusskie pritchi i ih mesto v zhanrovoj sisteme literatury russkogo srednevekov'ya* [Old Russian Parables and Their Place in the Genre System of Literature of the Russian Middle Ages]. *Literatura Drevnej Rusi: Mezhdvuz. sb. nauch. tr.* [The Old Russian Literature: Interuniversity Collection of Scientific Works]. Moscow, 1988, pp. 3–16. (In Russ.)
11. Romodanovskaya, E.K. *Drevnerusskaya pritcha: samoopredelenie zhanra* [Old Russian Parable: Self-Determination of the Genre]. *Trudy Otdela drevnerusskoj literatury* [Studies of the Department of the Old Russian Literature]. St. Petersburg, Dmitrij Bulanin Publ., 2003, Vol. 54, pp. 192–200. (In Russ.)
12. Romodanovskaya, E.K. *Specifika zhanra pritchi v drevnerusskoj literaturе* [Specifics of a Genre of the Parable in Old Russian Literature]. *Evangel'skij tekst v russkoj literaturе XVIII–XX vekov: Citata, reminiscenciya, motiv, syuzhet, zhanr* [The Gospel Text in the Russian Literature of the 18–20th Centuries: Citation, Reminiscences, Motive, Plot, Genre]. Petrozavodsk, Izdatel'stvo PetrGU Publ., 1998, Iss. 2, pp. 73–111. (In Russ.)
13. Tyupa, V.I. *Dvujazychije "Povestej Belkina": anekdot i pritcha* [Bilingualism of "Stories by Belkin": Joke and Parable]. *Gemanitarnye nauki v Sibiri. Serie "Philologiya"* [Humanities in Siberia. Series "Philology"]. 1999, No 4, pp. 8–13. (In Russ.)
14. Tyupa, V.I. *Hudozhestvennost' chekhovskogo rasskaza* [Artistry of the Chekhov's Story]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1989. 135 p. (In Russ.)
15. *Vvedenie v teoriyu kommunikacii. Avtorskij rider k lekcionnomu kursu. Sost. V.I. Tyupa* [Introduction to the Theory of Communication. The Author's Reader to a Lecture Course. Tyupa, V.I., Compl.] URL: <https://studfiles.net/preview/4347106/> (data obrashcheniya: 27.11.2018). (In Russ.)
16. Koshanskij, N. *CHastnaya ritorika. Izd. 3-e*. [Private Rhetoric. The 3d Edition]. St. Petersburg, 1936. 165 p. (In Russ.)
17. Petrovskij, M. *Anekdot* [Joke]. *Literaturnaya ehnciklopediya. Slovar' literaturnyh terminov. Pod red. I. Brodskogo, A. Lavreckogo, E.H. Lunina i dr.: V 2 t. T. 1* [Literary Encyclopedia. Literary Terms Dictionary. Brodskiy, I., Lavreckiy, A., Lunin, A., Eds. In 2 Vols. Vol. 1]. Moscow, Leningrad, Izdatel'stvo L.D. Frenkel' Publ., 1925, pp. 52–53. (In Russ.)
18. Kurganov, E. Ya. *Anekdot kak zhanr russkoj slovesnosti* [Joke as Genre of the Russian Literature]. Moscow, Arsis Books Publ., 2015. 264 p. (In Russ.)
19. Koshelev, V.A. *Paradoksy Homyakova. Zametki i nablyudeniya* [Khomyakov's Paradoxes. Notes and Observations]. Moscow, Indrik Publ., 2004. 216 p. (In Russ.)
20. Kuzmina, M.D. *Princip paradoksa v pis'mah A.S. Homyakova* [The Principle of a Paradox in A.S. Khomyakov's Letters]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizajna. Ser. 2. Iskustvovedenie. Filologicheskie nauki* [Bulletin of the St. Petersburg State University of Industrial Technologies And Design. Series 2. Art. Philology]. 2018, No 2, pp. 82–91.